

# МАКИНТОШ ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ

МАРИНА ГЛАЗАЧЕВА



Ч Т И В О

18+  
СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
Б\*\*\*Ь

# Марина Глазачева

## Макинтош для близнецов

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=72405625](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=72405625)*  
*Глазачева Марина. Макинтош для близнецов: Чтиво; Санкт-Петербург; 2025*  
*ISBN 9785605350347*

### Аннотация

Нина стаскивает Сашу в реальную жизнь прямо со сцены. Обе девушки устали от одиночества, но они непохожи: Нина торгует своим телом, а Саша не может продать Шекспира. Держась друг за друга, как за костыли, две невезучие героини постигают в окружающих и в самих себе душевную инвалидность и шаг за шагом учатся жить.

Читатель видит мир глазами обеих: переносится флешбэками в их детство и юность, а затем возвращается в неустроенную и искалеченную жизнь. Амплитуда событий колеблется от омерзительного до возвышенного, вместе девушки бунтуют против пошлости, из которой не могут выбраться сами. Будет ли крик об одиночестве и нежелании жить в грязи услышан?

Перед вами повесть о счастье и горестях, о вечном и преходящем, о цинизме и инфантильности, о превозможении и тёмных закоулках человеческой души, где так легко потеряться.

**Книга содержит нецензурную брань**

# Содержание

Глава 1	5
Глава 2	24
Глава 3	43
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# **Марина Глазачева**

## **Макинтош для близнецов**

**\* \* \***

# Глава 1

*Саша*

1.

У меня большие ноги, неудобные. У меня большие глаза и большие ноги. Я бы согласилась чуть уменьшить глаза, если б от этого уменьшились и ноги. А так мне всё время что-то мешает шагать. Идти, как она, виляя бёдрами, на несравненных шпильках и слышать вслед со всех улиц «улю-лю-лю»... И от этого приплясывать, и чувствовать, как мир партнёрски ведёт тебя в ритме какого-то отрепетированного танго, прижимает, когда надо, отбрасывает, когда надо, и, главное – выбрасывает только в выгодном направлении! Да! Казалось, со страстной щедростью мир одаривал её мужчинами для танцев в красной помаде. А также: мужчинами с терракотовыми пиджаками «с Милану», мужчинами с побрякушками «с Ирану» и ещё такими мужиками, что поселили её в центре города, в квартире с потолками, где не пришлось бы сутулиться и великану.

Я точно не помню, когда Нина взяла всю ответственность за наше существование на себя. Наверное, в тот день, когда мы проели мои последние деньги. Я помню лишь, как она сказала:

– Такие, как ты, не выживают, а жаль...

И потом:

– Не парься ты из-за этой своей работёнки. Звезда с какого-то подвала... Ну что ты, в самом деле?! Какие-то дяди над тобой насмеялись просто. Молодец, что ушла. Ты хотела, чтоб они уничтожили в тебе что-то волшебное?

– Что-то волшебное нельзя уничтожить, – ответила я ей.

– Ты уверена?

– Я ни в чём не уверена. Никто не знает, как жить.

– Глупости! – усмехнулась она тогда.

Тогда, в день нашей встречи, я уволилась с работы и пошла за ней. Попёрлась, как за кроликом из «Матрицы», за которым необходимо было следовать. И красная с синей таблетки для меня были уже наготове. Нет, я не настолько фриковата, что верю во всякую судьбоносную всячину. Я сама однажды показала одной малолетней наркоманке той самой, за которой она пойдёт, и всё станет другим. Ну, мне, может, и хотелось стать для неё Морфеусом и спасти её из Матрицы, где правит амфетамин, но через час я сообщила ей: «Да ты конченная». А наркоманка мне: «Так имей сострадание», – и ушла в темноту дворов. В общем, я поимела с неё мысли о сострадании, а она с меня – пятьсот рэ на дозу. Вот так вот, никакого вам чуда.

Я работала тогда в захудалом, но достаточно посещаемом театре – благодаря своим вкусным капустникам. А впоследствии – тому, что толстопузые его владельцы перенесли ме-

сто действия со сцены в буфет. Кто хотел хлеба и зрелищ – столовался у нас. Мне нравились эти перемены в театре, потому что вместо ерунды какой-то... мы стали ставить Шекспира. Наш креативный директор посчитал, что под коньяк и холодные закуски лучше подавать Шекспира. И мы не спорили. Так и не разбогатев со студенческих времён, мы не разбирались, что к чему подают... Так тогда было.

Сейчас же я иду за Ниной и уже знаю, что не по этикету это – черпать Шекспира ложкой для борща.

– Теперь у меня нет ни семьи, ни работы, – говорю я ей.

– Ну и чё? Научилась говорить себе правду? – спрашивает она.

– Видимо, да.

– Никто так не делает.

– Что?!

– Никто не говорит себе правду, прежде не научившись себе врать... Найди себе мужика и работу, а пока – наври себе что-нибудь.

– Ну что мне себе наврать?

– Ну, например... как это делается. Наври хотя бы так: ты, типа, ждёшь своего принца и ищешь себя...

– Я жду и ищу... Так это тоже правда.

– А-ха-ха-ха! Тоже правда – это не считается. Понимаешь? В «тоже правде» можно всю жизнь прожить. Видела этих навранных людей? Один наврал себе, что добр и смел, и думает, будто это тоже правда. Другая сказала себе, что осо-

бенная. Третий считает, что он добропорядочный семьянин. Четвёртый не отказывает себе в благородстве. Пятый обнаруживает в себе никому не нужного гения. Но на самом деле они не знают себя. И их полно... Целый навранный мир. Люди – это плохая музыка, их песни фальшивы.

Я не понимала, почему всё сказанное ею кажется мне каким-то истинным знанием. Может, потому, что у неё был золотой кетчуп? И она поливала золотом сосиски? Было в ней что-то не навранное, особенное.

– Это я с Дюссельдорфа кетчупчик привезла, – объясняет Нина. – Забавно, да? Люблю всё забавное. Может, напьёмся? – тут же спрашивает она.

– Может, давай.

Плавающий ресторан на берегу Невы – манерное место для манерных людей и шикарное для шикарных шлюх. Хотя мы не очень-то интересовались происходящим вокруг: сиделись у окна с видом на реку и качались... Выпивали и качались. Этот рестик был для нас чем-то типа большой люльки. Мы даже не разговаривали, иногда лишь переглядывались и улыбались друг другу. А иногда играли в нашу игру под названием «Что лопает сосед?». Определять нужно было по запаху. Мы закрывали глаза и принюхивались к соседним столам. Я всегда выигрывала, несмотря на то что у Нины был лучше нюх на омаров.

В общем, как-то так... Мы проводили с ней время, легко уплывали от забот и забывали, что на самом деле никуда не

плывём. На самом деле мы, как и все люди, что в своём уме, были мертво намотаны на кнехты своих жизненных обстоятельств.

– Почему ты тогда ко мне прицепилась? – спросила я Нину.

– Потому что тебя там обижали, – ответила она.

– Там всех, как выяснилось, обижали.

– Но только у тебя было то, чего нельзя насосать... То, чего... Ты особенная и ты чистая, и это особенно невероятно.

– Одни мучения быть особенно странной. Меня три раза водили к психиатру, – выпалила я.

– А я воровала, один раз, – поддержала Нина. – Когда мне было шесть, я украла у подружки рисунок балерины. На голубом фоне, тонкая, в юбке из облака и с вытянутой ножкой... И её профиль, чёткими линиями нарисованный... Как только это что-то высокое, даже, я б сказала, заоблачно высокое нечто оказалось у меня в кармане, приехал вроде как мой троюродный дядя. Неделю вроде как гладил меня по ляжкам и подушечкой большого пальца касался трусиков, в результате чего я получила от него самую дорогую заколку для волос, купленную в самом большом магазине моего маленького посёлка, где росли пирамидальные тополя. И где в свои четырнадцать я вроде как показала грудь за осла.

Я поперхнулась, она участливо постучала меня по спине.

– Да... Мне отдали старого осла сразу после демонстрации только ещё набухающих молочных желёз. Я прицепила

к нему телегу и катала летом приезжих детей в Краснодаре. Скопив на билет, я и уехала в Петербург. Через пару месяцев доголодалась здесь до частных танцев в элитном клубе знакомств. Танцевала я без таланта, попросту – плохо. А вот грудь показывала так хорошо, что ослы молодели, а заколки дорожали. Это мой единственный талант, – закончила она.

– Что ж... У тебя талантливые сиськи, а у меня – нет. У меня, по-моему, вообще ни одной талантливой части тела.

– Внутри, – скомкала она слово, произнеся его слишком коротко.

– Что?

– У тебя что-то внутри. Та балерина... у тебя там. Я тогда её в тебе увидела... тогда.

– Когда?

– А-а-а-а тогда-а!

...Тогда к нам в театр пригнали негра – настоящего, чёрного, из Камеруна. Он был не актёром вообще, только негром он был, двадцативосьмилетний студент какого-то петербургского вуза. Толстый, чёрный и с очень плохим русским. Он постоянно говорил о сексе и даже старушке-гардеробщице предъявил справку, что СПИДом не болеет, и та побледнела. В общем, вот...

«Сон в летнюю ночь». Я вся в любви. Слышу его:

– Да разве я любезничал с тобою? Я завлекал тебя? Сказал я прямо, что не люблю и никогда не полюблю тебя! – кричит он, расставляя, темнота, ударения в словах по своему нера-

зумению.

Я кидаюсь к нему и тоже кричу:

– Да! Я твоя собачка, бей сильнее. Чем больше будешь бить, тем больше буду вилять я хвостом, – ненарочно ударяю я не на тот слог...

Потом я плачу. Зал ревёт от хохота и свистит, я слышу, как кто-то даже хрюкает. В общем, полный аншлаг. Вдруг меня хватают за рукав и пытаются стащить со сцены.

– Пойдём отсюда, здесь одни уроды, тебе здесь не место, – слышу я что-то, что выходит за границы моей роли.

...Раньше я никогда не смотрела в зал во время спектакля, а тогда посмотрела. Раньше я никогда не выпадала из заданных обстоятельств. Ни-ког-да не смотрела!.. Мой контакт со зрителем – это лишь ощущение, что за тобой кто-то наблюдает, кто-то смотрит на тебя. Как и в жизни... Ты идёшь, а тебя рассматривают прохожие. Ты знаешь об этом, но дальше идёшь и дальше живёшь, почти не обращая на них внимания. И обычно никто не выдёргивает тебя из жизни за рукав и не заявляет: «Пойдём отсюда. Здесь одни уроды. Тебе здесь не место». Хотя иногда ты даже ждёшь этого кого-то или чего-то, в надежде на более совершенное существование.

Она влезла на сцену и загородила меня от публики, словно я оказалась некстати голый.

– Пошли, ну пойдём, – всё дёргала и дёргала она меня.

– Что случилось? – спросила я.

– А ты не видишь? Ты что, слепая?

Я посмотрела ещё раз. Красные лица – много... И столы с объедками... Кто-то с тремя подбородками в первом ряду всё ещё хохотал, и из него вылетали куски недожёванного пельменя, он давился то ли смехом, то ли закуской – было непонятно.

– Ты им Шекспира мечешь? – спросила она.

– Не надо?

У неё дёрнулась щека, она развернулась, подошла к здоровяку с пельменями и с размаху влепила ему сначала по спине, а потом по лицу так, что все его подбородки затряслись, а потом крикнула мне:

– Бежим!

И рванула к выходу. Я спрыгнула со сцены и побежала за ней.

– Сумасшедшая! – кричала я ей вслед. – Она сумасшедшая! – с радостью объявляла я изумлённой публике и даже потрепала по ходу чью-то кудрявую голову.

Мы выбежали из театра и понеслись в подворотню. Забежали в парадную, бегом поднялись на пятый этаж и там долго сотрясались и всхлипывали. Отдышавшись, я разглядела, что женщина абсолютно пьяна, и тогда мне стало ещё смешнее... Я просто надрывалась от смеха и даже хрюкала:

– Представляю... хрю... как нас теперь закроют... хрю... посадят за хулиганство... хрю... и я буду чалиться в этом платье... вообще... глянь... хрю-хрю... – захлёбывалась я.

– Никто нас не посадит, – улыбалась она. – Тот мужик – мой любовник. Он меня давно затрахал, и ещё он – жадная свинья.

– А-ха-ха-хрю-хрю...

– Ну что ты так ржёшь-то? Ничего смешного. Мне больше не выпить столько, чтоб снова с ним лечь. Так что мы теперь обе безработные. Как тебя зовут?

– Саша.

– Нина. Так зовут меня. Всё будет хорошо, Саша. Ты хотела, чтоб они уничтожили в тебе что-то волшебное?

– Что-то волшебное нельзя уничтожить, – сказала я ей, но не была уверена в этом ответе.

Ну, в общем... дальше вы знаете. Слышали уже. Она мне: «Ты типа уверена?» Я ей: «Никто не знает, как жить». Она мне: «Глупости». Ну и так далее.

– А в Париже пахнет сыром и духами. Ты чувствуешь? – спросила я её, как только мы вышли из ресторана на набережную. – И ещё все вокруг картавят, ты слышишь?

– Ага, – ответила она, вдыхая ветер полной грудью и слушая метель. – Но сейчас я хочу в Лондон.

– Хорошо. Давай погуляем по Лондону. Улочки узенькие, как игрушечные, и домики такие же. А англичане в веснушках... и англичанки. Если смотреть на них сверху, будто ты солнце... ты будешь ласковая к ним... Там много жёлтого, и зелёного достаточно. И ещё синего и серого, как небо.

– Так красиво?

– Скорее смешно. Газончики такие, под ёжик подстриженные. Всё как в мультике, представляешь?

– Так забавно?

– Ага. Машинки маленькие, юрк-юрк... Все мельтешат... англичанки спешат куда-то на коротких ножках... а англичане плятятся на них из пабов с огромными окнами. Такие, знаешь... не злые и не добрые... слегка уставшие англичане.

– От чего?

– От своих строгих костюмов и, может, города, независимо от их душ – всё же строгого. И им приходится каждый день ходить в нём, а он застёгнут под самое горло. Душит он их.

Нина смотрит на меня и плачет.

– Это просто балерина.

– Ты просто опять перебрала... Вот тебе она и видится. Все напиваются до чёртиков, а ты – до балерин, – отвечаю я ей.

2.

Я сказала: «Гнида. Раздавить!» – и хотела сплюнуть, но во рту пересохло, и я заикалась: «А... а... м-мо... можно водички?»

Они сказали: «Вон кулер». И: «Мы вам позвоним».

Я уже четвёртый месяц заикаюсь по кастингам. И почти два месяца прошло, как съехала я со своей коммуналки и

живу в апартаментах Нины. Она сказала:

– Я делаю тебе предложение: давай жить вместе.

И потом:

– Хочешь в кино – так иди в кино.

В этот вторник я пробовалась на роль прожжённой тётки из КГБ, что постоянно курила, сплёвывала и всех приговаривала к расстрелу. А в прошлый понедельник я стала матерью, причём сразу пятерых. Старшая моя дочь так мне трепала нервы, прям раздражала, потому что была она набитой дурой с силиконовой губой и всего на шесть лет младше меня. Но я не возмутилась нисколько этому несоответствию! Я знала, что мне в любом случае укажут на кулер и потом на дверь. Уже прямо с порога знала, как только прожужжала «З... зы-зы... зы... дравствуй... те».

Я не рассказываю Нине о том, что со мной происходит на пробах. Я говорю: «Мне нечего там делать. Там одни уроды, эти дешёвые сериальщики так завидуют моему таланту, что не дают ролей».

Я замечаю, что всё чаще разговариваю с Ниной какими-то не своими словами, будто играю роль и ничего не могу с собой поделывать. Думаю, что я боюсь. Боюсь, что она вернёт меня обратно, как бракованного щенка. Как она растянет: «Бли-и-ин... А с прикусом-то беда, и задние лапы иксят. Я ошиблась. Нет в тебе ни капли балерины». И тогда мне придётся вернуться в свою старую конуру илизывать новую рану. И бесконечно плакаться Одинокому Мистеру, мо-

ей кукле – другу с одним глазом, точнее, с пуговицей вместо него.

Так вот что меня ждёт: одноглазый Мистер, горчица на хлеб, вялый омлет, грязный чайник, душ в общей уборной... Там же сосед со слабым желудком. Его жена варит свекольник на кухне. И там же его сын, которого зовут Егорка. Егорка пьёт беспробудно. И тётя Римма-кошатница тут же, пахнет кошачьими ссаками и ненавидит всё человечество. Причём очень громко ненавидит, причём в вечно разбитое окно.

– Там котяточки, котяточки народились! – орёт она через дырку в стекле проходим. – Вы б хоть блюдечко молочка им принесли. Жадные твари! Ну что за люди пошли... Люди – какие-то нелюди!

Потом она шаркает в свою комнату и ворчит себе под нос всегда одно и то же:

– У самих-то вон скока денег. Молочка им блюдечка жалко. Чтоб вы сами все с голоду попередохли! Да задери вас бульдог!

Но больше всего я боялась возвратиться в свою жизнь вечером и если будет тихо. Поднять голову и снова увидеть на шестом этаже тёмное окошко. А если вдруг оно будет гореть... Это значит либо пожар, либо мне уже совсем капец. Это значит, что я опять нарочно оставляю свет включённым, чтобы не видеть своего собственного окна, почерневшего от одиночества.

Таким же оно было у моей бабушки, певички. И ещё чёр-

ное пианино у неё было, и чёрные песни оттуда летели... До сих пор их слышу:

«Осыпались листья над вашей могилой... ла-ла... и пахнет зимой. Послушайте, мёртвый, послушайте, милый, вы всё-таки мой».

У бабушки хоть мёртвый дед был, а у меня из мужчин ни одной живой и даже мёртвой души – ни одной. Нет... была одна короткая история с седым коротышкой, пожилым дядечкой очень маленького роста. Я рассказывала её Нине, держа фиги за спиной, рассказывала, как высокий и пылкий брюнет любил меня до потери пульса... И через паузу пела:

«Осыпались листья над вашей могилой, и пахнет зимой. Я смерти не верю, я жду вас с вокзала... домой! Домой!»

На самом деле я никого не ждала. Разве что мальчика из моих снов. Он приходил ко мне в ночь с четверга на пятницу, и я хотела, чтоб он сбылся. Тем более после всего, что между нами было. Мы летали и целовались... Ага. Плавали по небу рыбами, падали в море птицами, краснели закатами, стеснялись, заикались, зажимались, трепетали, молчали... и иногда гудели что-то другу другу – словно пронизывали друг друга какими-то ультразвуковыми волнами. Он мне – гу-гу-гу, и я ему что-то гудела каждую ночь с четверга на пятницу. И я знала: если он сбудется... Ох, тогда – погудим.

Только его я ждала. Только его я любила больше жизни, так что хотела уснуть и не проснуться.

Хотя мне, наверное, просто не нравилась моя жизнь, ни-

чего в ней не нравилось, кроме театра. Наверное, точно не нравилась, настолько, что можно было и вправду – не просыпаться. Но я не умела говорить себе правду... Я была тем самым навраннным человеком в навранном мире, о которых говорила Нина. Я наврала себе, что у меня вполне всё удачно. Что я имею признание в театре, который был для меня не забегаловкой, а прям Большим. Именно так я преподносила себя окружающим.

На самом-то деле я не считала себя перспективной и талантливой, несмотря на то что в мои семнадцать преподаватели театралки обнаружили во мне вторую Джульетту Мазину. Трагедия в том, что среди них не оказалось второго Феллини, и я им не поверила ни на копейку, и в себя тоже не поверила. Хотя какие-то балерины и Мазины во мне всё же толкались. Ну и чего ж мне было ещё наврать-то себе, как не талант... после того, как меня посчитали странной душой и поставили на учёт к психиатру?

В детстве я мало интересовалась людьми и могла целыми днями смотреть в потолок и представлять, что это арена цирка и я выступала на потолке с саблезубыми тиграми. И вот однажды, сразу после аплодисментов, родители отвели меня в больницу, где худосочный доктор переоделся в весёленькое трико и стал силачом, рвущим цепи... Я ж не изменилась ни на копейку. Не считая того, что в моём кармане загремели бутылки с разноцветными таблетками, которыми я однажды решила травиться перед контрольной по матема-

тике, но характера не хватило.

Меня считали странной дурой, потому что мне никогда не было скучно одной. Мне было одиноко, это да... до страшных депрессий и даже истерик, но никогда – скучно. Моей голове неведомо это вовсе. Я представляла жизнь куда-то направленным, исключительно моим, смирным течением и плыла по нему... И не рыпалась. И не дудела в свою дуду. И не ждала, что всё заплещет под мою немую дудку. Мне скорее хотелось станцевать с кем-то вдвоём... с таким же странным, как и я. С кем-то с моего потолка – отдаться танго.

Про мои фантазии знала только бабушка, она глядела вместе со мной на дрессированных тигров и доктора в трико под самой люстрой, и ей было это не до лампочки. Перед смертью она надела на меня белую пушистую шапочку на резинке и отвела в театральную академию. Там нужно было играть этюды – показывать всё, что у тебя в голове и за душой. И я играла, и мне кричали: «Мазина! Мазина!» Потом бабушка умерла... И мой однокурсник, молчун со страшным сколиозом, поправил мне резинку на шапке и прямо с похорон отвёл в экспериментальный театр, где я и работала до недавнего времени. Десять лет работала я там.

И все эти десять лет я горчила себе хлеб по утрам, ела вялый омлет и нюхала чужие свекольники на засаленной кухне. Здесь я научилась путешествовать и понимать рукоблудов. Именно с той коммунальной кухни, держа в руках книжку с видами городов, я ежедневно улетала в Париж, Лондон, Ми-

лан... В общем, я хотела весь мир. И кошатница Римма со мной везде летала... И Егорка не раз дымил на меня сигарами и пил не свою обычную сивуху, а гавайский ром через трубочку... И добряк молчун-горбун что-то весело болтал, прям без умолку, и хвастался трапециевидными мышцами спины.

Поэтому, когда Нина сказала мне: «Завтра катим в Дюссельдорф», я не восприняла это всерьёз. Я просто ответила:

– Хорошо. Мне, в общем-то, всё равно, по какому городу гулять... У тебя есть журнал с картинками этого Дюссельдорфа? – потирала я руки.

Моя улыбка развязалась до ушей, хоть завязочки пришей, как говорится... Как только Нина вручила мне мой билет. Из заграниц я однажды была в Финляндии, и больше нигде. И добиралась туда автобусом. В общем, я никогда не летала на самолётах... Да что уж, ни на чём я не летала. И потому улыбалась, как дура. Как будто меня кто-то напугал в секунду счастья и – о счастье! – я осталась такой навсегда. А-а-а-а-ха-ха!

– Ты можешь не лететь, тебе может там не понравиться, – вдруг заявила мне Нина со всей серьёзностью.

– Где мне не понравится? В небе? – расхохоталась я.

– Да не в небе, дура, а в отеле, с мужиками. Ты там молчи – может, за умную сойдёшь. Хотя...

Она осмотрела меня с ног до головы и покачала головой.

– Нет. Не сойдёшь. Ладно. Спать тебе там ни с кем не при-

дётся, если только кому-то не припрёт. Так что мажься сажей и держись от меня подальше. Публика там извращённая. В общем... я сказала, что ты моя подруга и мы нигде не расстаёмся. Но, боюсь, меня могли неправильно понять. Пони-маешь?

– Ага. Жакет дашь?

– Да, блин... тяжёлый случай. Бери что хочешь. Только перестань лыбиться и будь осторожной. Я не смогу тебя защитить... от них. Не смогу. Ты напорешься, а мне тебя потом лечить. Мне тебя потом не вылечить.

Настороженность Нины меня слегка осадил, но я всё равно ликовала до самого вечера. Даже слегка устала от счастья.

– От счастья можно устать? – спросила я у неё, плюясь зубной пастой и усиленно начищая резцы.

– О боже! – заулыбалась Нина. – От твоей болтовни кто угодно устанет, хотя я с тобой счастлива.

Я не хотела выдавать, что обрадована её словами, но раскололась и опять заулыбалась, как дура.

– Ты вся в зубной пасте, иди умойся. Ну какая ж тупица! – рассмеялась она.

А потом добавила:

– Ну конечно, можно. Счастье – это тоже стресс, и оно случается реже, чем горе... Непривычней это – быть счастливой... Счастья можно бояться и испортить его к чертям собачьим, и потом горевать, что для человека – привычнее.

– А, па... нятно! – крикнула я из ванной и нечаянно про-

глотила мятную пену.

Ночью я никак не могла уснуть. Ворочалась с боку на бок, считала овец, потом глиняных свиней-копилок с дырами в рылах... Потом свиньи выросли, пожирнели, состарились и попадали замертво одна за другой перед самым барьером, через который они должны были по очереди перепрыгнуть.

– Сдохнуть от счастья можно, – сказала я вслух. – И аппетит пропал... И сон... блин.

Я встала с кровати, подошла к окну, с безразличием взглянула на сказочный снег, как «с Голливуду». Хмыкнула: «Наверняка он из пенопласта». Опять подумала про Дюссельдорф в завтра, сходила на кухню и нервно сжевала всю карамель «Мечта». Потом заметила, что в ванной не выключен свет, ну и пошла туда. Дверь была приоткрыта, и я почувствовала запах розы и ещё чего-то терпкого. Я раскрыла дверь и увидела в ванной Нину в плеере и с закрытыми глазами.

– Ты что, спишь? Нина! – повысила я голос. – Ты так утонешь... Знаешь, сколько...

Я не успела договорить. Она открыла глаза и, увидев меня, вдруг заверещала:

– Пошла вон! – орала она. – Что тебе здесь нужно? Ты что, лесбиянка? Ты лесбиянка?! Вон отсюда, уродка!

Я выскочила прочь, забежала в свою комнату и, накрывшись с головой одеялом, заплакала. Минут через десять я услышала:

– Не плачь, слышишь? Я просто испугалась.

Я не отвечала.

– Ну извини, – сказала она. – Когда-нибудь... когда ты узнаешь... ты поймёшь, что не стоило на меня обижаться.

– Что я узнаю? – спросила я из-под одеяла.

– Что значит быть особенно странной, – ответила она.

Грудь распирает от радости, и ещё стучит в висках. Я взлетаю... Я лечу! А-а-а-а!!! Я лечу! Уши заложены, и я кричу  
Нине:

– Я не лесбиянка! Ты слышишь?

А потом целую её в щёку. Я летаю и целую кого-то странного... не слишком понятного мне человека, кого-то нерезального. Гул в ушах.

– Гу-гу-гу, – гужу я ей.

Она улыбается мне в ответ и молчит.

– Я счастлива! – кричу я ей.

– Я тоже. Только не ори.

## Глава 2

*Нина*

1.

– Меня зовут Нина Лисова, и я ему только лизнула, совсем слегка... Ну, лизнула только. Он был большой, косолапый, с красивым и крайне молодым лицом, наверное, потому что было ему всего девятнадцать лет. Ну и вот...

Он мне говорит: «У меня никогда не было. И ещё никто мне не говорил, что у меня красивое лицо. Ты первая мне такое сказала». Ну и как бы... Я после этого... Я вроде как бы... ну, это... Была обязана ему – хотя бы лизнуть.

Я тогда говорю: «Пошли в лес, там кусты». А в кустах опять говорю я: «Снимай штаны».

Он снял. Я тоже зачем-то сняла, по привычке, видимо, присела на корточки и рот открыла... и посмотрела на него снизу вверх, прямо в очушки его пламенные загляделася. И ох, никогда, фрау-мадам, скажу я вам, не видела я такого взгляда! Картинка, скажу я вам! Балет! О да!

– ВАУ! – гавкнула я на мадам, одетую в глухую водолазку. Та отпрянула. Я продолжила:

– Как он на меня смотрел! Сначала чуть подёргивался, словно в нём переключался тот самый тумблер... из мальчи-

ка в мачо. И ужас, и паника, и благодарность, и желание, и отвращение, и немой вопрос увидела я в его глазах, мол: «А на хрена ты это делаешь?!»

Если бы я почти не научилась плакать, я бы заплакала, мадам, заплакала... Если б я не научилась орать вместо того, чтобы плакать... я не стала бы опять открывать рот не по делу. «Хочу! Но я пьяная и старая уродка! Понял?!» – и потом надела штаны. «Нет! – выкрикнул он и схватил меня за ворот полушубка. – Показать, как?»

И потом как-то по-детски захныкал, вот так: «Хны-хны-ы-ы-ы!» То ли оттого, что сорвалась, то ли от жалости, то ли от дурасти. Отчего?

Мадам задумалась.

«Нет, – опять сказал он мне, мадам. – Ты мне понравилась. Ты не старая!» – «Ага. И не пьяная!» – икнула я.

– У-ху-ху! Ну вот, мадам, я вам всё выложила, прям по ролям рассказала, и с выражением. А можно мне теперь закурить, мадам, можно? А, вот ещё что... Мне надо было возвращаться куда-то к своей толпе, вся моя компания куда-то подевалась. Выпила пива и испарилась, понимаете, фрау-мадам? Я пёрла гигантскими шагами, шажищами рвала через бурелом. Ветки прямо в рожу мне. Это мне глаза расцарапало тогда, это я не плакала, нет, мадам, нет! Это ветки прям в глаза, когда он кричал мне вслед:

«Нина! Ни-и-на! Остановись! Ты мне понравилась. У меня никогда не было».

«У меня тоже», – заревела я ему, но как-то по-взрослому забасила, а потом завыла зверюгой и упала лицом в гнилую траву, и кричала, и дрыгалась, и молилась Богу, так громко... как молит только разгорячённая водкой душа. Я кричала и кричала Богу, но слышала только какое-то бульканье над собой. Как вы думаете, я утопленница?

– Утопленница? – вопросительно повторила она и наклонила голову набок, как делают собаки.

– А-а-а-а! – ткнула я в неё пальцем. – Это немецкая овчарка! Точно! Да? У меня подруга актриса... Мы с ней постоянно играем в «Угадай, кто я?». ХА-РА-ШО показали. Зачёт!

– Овчарка? – спросила она тем же тоном и наклонила голову на другой бок, и опять замолчала.

– Я не знаю, сколько времени я валялась там, как-то не засекала. Потом подняла голову. Думала, вдруг он прикослапит ко мне... погладит своими большими руками и улыбнётся своим красивым лицом. Думала, что пожалеет. Вот что думала. А он сел на мой велик и укатил...

Нет, он обернулся, мадам, и посмотрел на меня опять. Так посмотрел, что я вспомнила, как он подбрасывал меня к себе на грудь. Подходил со спины, брал под мышки, и как воздушность какую подбрасывал, и прижимал к себе... Я без лифчика хожу, мадам, понимаете?.. Игрался, понимаете, молодой он и такой громадный... Сильный, косолапый мой медведь... Как женщину... Понимаете вы, мадам? Как женщину?! Если вас подкинут так когда-нибудь, вы тоже, мадам, в

кустах с мишкой окажетесь?.. Ох, мадам...

– Сколько вы выпили? И помните ли вы его имя? Где вы с ним познакомились? И в какой компании вы арендовали велосипед? Он бил вас? С какой целью вы посетили Германию? И... И... – эта фашистка плевалась вопросами, как из пулемёта.

Да уж. Я никогда её не забуду. Я скорее забуду, что соснула в кустах немецкому малолетке, чем её и всех подобных ей баб, бабцов, бабонек в глухих водолазках, что считают себя приличными мадамами. Всех вас, кто смотрит на меня прямо сейчас со своих террас, оплетённых цветочками, и с заводскими крестами-штамповками над засохшими титьками. Всех вас, кто считает себя лучше меня, выше меня. До самой властной насмешки над моим существом, божественно выше...

Не засикаете ли, ссыкухи, подсчитать свои грешки, запрятанные под ваши наспех застиранные, душные водолазочки, и свалиться с высоты своего самообожествления?.. Ого... как сикать, ссать-то как хочется!

– Мадам, можно мне в туалет?

– Здесь нельзя курить, – ответила она почему-то на мой предыдущий вопрос.

– У вас что, задержка в развитии?.. Бедняга... Иди, пожалуйста... Я ведь тоже, считай, калека, – заплакала я и потянула к ней руки.

– Сколько вы выпили?

– Сколько влезло.

– Что вы пили?

– Всё, что горело.

Она опять наклонила голову, показала мне кончик языка и прищёлкнула им:

– Я вас не понимаю... Русская...

И я слышала, как про себя она добавила слово «блядь». «Я вас не понимаю, русская блядь» – так звучало целиком её предложение.

– Вообще-то, я турчанка по бабушке, – пояснила ей я. – Мы ж с вами вроде должны вась-вась... Так же теперь? Гитлер, конечно, в гробу переворачивается... Но ведь так же теперь?.. Мы ж вас, немцев, почти всех уже переимели. Турка я, по бабушке... Гитлер капут.

В общем, меня не отвели в туалет. Закрыли на сутки в одиночке. Потом выпустили... Не знаю уж, по доброте душевной выпустили или со штрафными санкциями. Ведь у нас в России сирот нет, как говорится. Ведь оттягивалась я в Дюссельдорфе с русскими олигархами!.. Так вот, мамамы в водолазках, глухие и жестокие, как фашистские танки!

– Саша... ты как?

– Ты где была, Нина? Я не выхожу из номера вторые сутки. Я тут боюсь без тебя.

– В ментовке... Или как это здесь называется? В турмё.

Саша лежала в кровати и была похожа на больную старушку. Я соорудила ей чепец из полотенца и попыталась за-

смеяться... но заплакала, уткнувшись в её тёплую грудь. Она гладила меня по голове своими маленькими ладошками и улыбалась своим вдруг постаревшим лицом. Я взяла и зачем-то поцеловала её прямо в губы, тогда и она разревелась.

– Почему ты такая несчастная? Нина. Ниночка. Что с тобой? И почему ты такая? Всех и всё ненавидишь, даже себя.

– У меня никогда не было, – ответила я ей.

– Чего не было?

– Ничего.

– Хочешь, я буду любить тебя, Ниночка, как никого на свете буду?

– Хочу. Твоей красивой любви – хочу...

– Знаю. Ты – проститутка. Ну и что? Даже если б ты была пауком, я бы как-нибудь придумала, как тебя любить. Потому что это неправильно, Нина... оставить без любви кого-то живого. А мне всё равно некого, – засмеялась она. – И не было у меня никакого высокого пылкого брюнета. Был какой-то мелкий дед, театрал с брошкой. Он меня раздел, и меня стошнило. Не оттого, что дедок, а оттого, что театрал. Он каблуки носил, ты представляешь? И глаза у него были такие гаденькие... Фу! И ещё он сказал: «Я не буду в тебя спускаться, не бойся». А-а-а-а-а! Фу-фу-фу! А от тебя меня не тошнит, Нина, хоть ты и проститутка.

– Какая ж ты дура... Вот попадёшь в мою паутину и не выберешься. Какая ж ты дура... Кому в триццак платят такие деньги? Проститутка столько не заработает. Столько за-

работает только паук. Тебе не страшно?

– Мне без тебя страшно. Ты такая смелая. А мне так страшно, потому что я не умею.

– Чего?

– Со злыми людьми не умею... с гадостью не умею... Я со многим не умею обращаться. А ты... ты мой трюкач в реале, что дрессирует саблезубых тигров. Вот ты кто, Ниночка.

– Мне раньше никто не говорил, что у меня красивое лицо, ты первая мне такое сказала, – ответила я ей и опять поцеловала прямо в губы. Потом вспомнила про недосос, но всё же... И заставила её полоскать рот мирамистином. Потом и сама отмылась. Потом мы нарядились в пижамы и потребовали в номер горячего молока с печеньем.

Потом я сказала:

– Я неприятный человек.

А она мне:

– Неприятный человек – это ещё не трагедия.

Ну, а ещё потом... мы проспали до самого вечера под какую-то очень старую немецкую оперетку, напетую нам из сверхсовременной плазмы.

Мне осталось работать три дня, этот миллионерский загул длился всего неделю, никто не просыхал, творилось нечто невероятное... Это значит, я хорошо отработала свои деньги. Богатые люди ничего не тратят просто так. В том числе и своё здоровье. Если пьют или нюхают – значит, им весело. Оттяг, приключение. За это «весело» и платят. В первый же

день я сложила в карман десятку евро только за то, что выпила кастрюльку супа за десять секунд и сделала саечку за испуг<sup>1</sup> официанту. Остальные бабки – по прейскуранту. Чем грязнее, тем дороже. Или – чем забавнее. С моими данными, о которых я не хотела бы распространяться, мне, конечно, не приходилось трахаться и одновременно есть огурец или одновременно читать Карлсона. Я сама по себе... родилась интересной. Родилась деликатесом для людей искушённых. Тем не менее... я однажды позволила себя бить. Сорвала куш, так сказать – за три дня издевательств заработала почти на квартиру. И эти три дня оказались длиннее ипотеки, уж поверьте на слово.

Я спустилась к ужину с клиентом, а Сашка рванула в какой-то музей современного искусства и трезвонила мне оттуда каждые пять минут. Я в основном сбрасывала. А если брала трубку, слышала:

– Тут такое... ты бы видела! Ты когда приедешь?

Я отвечала про себя: «Никогда. Никогда я не приеду и не увижу ни одного города мира, о которых ты так мечтаешь, хоть у меня и восемь глаз и ног... Мне не оторваться от своей паутины...» Так я себе отвечала и широко улыбалась другому чудовищу, на другом конце стола.

Он заказал бычьи яйца, целый поднос, и ел их смачно, гля-

---

<sup>1</sup> Саечка за испуг – забава, берущая начало от детской дворовой игры. Человек делает вид, что собирается ударить другого человека. Если тот пугается, то первый ему обычно ударяет запястьем по лицу или резко поднимает нижнюю челюсть. – Прим. ред.

дя мне прямо в глаза – поедал половые органы животного, и наблюдал за моей реакцией, и улыбался жирными губами. Я сжала ноги, прижала одну к другой так, чтобы до боли.

– Это ж яйца травоядного, – спокойно сказала я ему. – А яйца льва слабо тебе заполнить?

– А тебе? – захохотал он.

– Если я захочу, то мне ничего не слабо. Так бывает – с отчаявшимися людьми.

– А ты чего-нибудь хочешь?

– В том-то и дело, что нет... Ничего из предложенного. Моя цель – тупо деньги.

– А зачем они тебе?

– Для защиты... для старости... на другую жизнь... если кого-то люблю... и если меня кто-то... Может же быть такое? А тебе?

– Власть... Я играю в царя горы. Когда я вырасту и стану большим, – улыбнулся он, – я буду властен над целым миром лохов.

– Знаешь, кто-то сказал мне, что чем мельче человек, тем больше ему всего надо.

– Зачёт, – ухмыльнулся он. – Тебе точно не нужны яйца? – протянул он мне пару на вилке.

– Спасибо. У меня уже есть.

До вылета домой осталось девяносто два часа, и я уже напиваюсь с самого «со сранья»... Ху-ху... в нашем с Сашкой номере. Ну, просто... уже необходим этот запой. У меня начались месячные, а от вчерашней физкультуры не освободили. Скорее всего, меня освободит лишь смерть. Это ненормально, наверное, но я испытываю чувство, похожее на счастье, когда вспоминаю, что смертна. Когда думаю, что я – это всего лишь временное явление, что всё это – точно закончится и что всё это – точно пройдёт. Мне тридцать, и если я буду продолжать так пить, то останется совсем недолго до свободы. Ха-ха. Главное – не встретить вампира, страдающего заразным бессмертием. Хи-хи. А больше – ну чего мне бояться? Я страшно хорошо понимаю высказывание «Я своё отбоялась», будто каждая буква из него впечатана в меня. И вот... вроде бы теперь жить и жить! С такой отвагой – стать сотрудником МЧС, может, или сокрушать одним лишь взглядом панчеров на ринге, или, зевая, рискнуть в рулетку. А может быть, бомжом? И просто гулять, отдыхать, гулять и кормить птичек – аж до самой до могилы?

Да! Вроде бы и жить мне с такой отвагой... Но я как будто потеряла что-то важное. Потеряла давно и – навсегда. Я вот... однажды услышала из магнитолы одного сентиментального мазохиста: «Ведь погибель пришла, а бежать – не сумеешь. Из колоды моей утащили туза, да такого туза, без которого – смерть». Услышала и взывала громче, чем он – от господских хлыстов. Тогда в последний раз я плакала трез-

вой. А больше я просто не слушаю такое, потому что обезболивающий морфий теперь не в моде. Ы-ы-ы-ы... Вот опять. Ы-ы-ы... На кой хер вспомнила? Ни-ма-гу... напилась. В общем, никогда не пейте с поэтами – ни бухла не хватит, ни слёз. Ох, да, извините... Падшая, прости Господи, заговорила о высоком Высоцком... Представляю ваши скривившиеся хари. Я, ваще-то, живая, и из вашенских я, из людей...

– Что ты тут всё бормочешь, Нина? – проснулась Саша.

– Будешь «Кровавую Мэри»? Я тут с миром разговариваю, будто пишу для него книгу. Аудиокнигу сочиняю. Может, кто-то и меня услышит... Может, кому-то надо, что и я есть... Низкая бездушная тварь, что продала тело, а душа пошла в комплекте.

– Я тебя слышу, Нина. Только я... Ты лучше возьми и запиши. Действительно... возьми и напиши всё это. У тебя такая необычная роль. Я хотела бы тебя сыграть, рассказать о тебе.

– Хотела бы... х-х... Что написать? Так, что ли? Сценарий таков... Ещё вчера приехал его сын. Двадцати лет от роду, а уже – скотина. Я восемь часов стояла в коленно-локтевой и заливала кровью простыни. А им нравится унижать... Ты понимаешь тех, кому нравится унижать? Понимаешь? А я уже понимаю. Я даже хуже, чем понимаю, – я точно знаю, что происходит в их головах, и стою раком... и лью свою позорную кровь на их белоснежное постельное! Меня даже не чпокали. Ха-ха... Они ж, обожравшиеся сексом, наказаны фи-

гобой потенцией. Фиг нанэ, короче, им. Пили, ели и только смотрели на меня, стоящую враскоряку, и раз в полчаса, по звонку будильника, пинали сапогом по моей кровящей промежности. Я падала, а они ржали. Одним словом, ещё одна незабываемая ночь в моей жизни. Ты понимаешь уродов? А я – да. О чём это говорит? О том, что я тоже урод... и мне их жаль, как себе подобных. Так же жалко, как себя, понимаешь? Всех пристрелить... всех нас, чтоб не мучились мы, уродцы в чьём-то цирке.

– Успокойся. Не части. Никакой ты не урод, Ниночка... Ты скорее оступившийся человек. Ты просто глупо распорядилась своей жизнью. Всё ещё можно исправить. Я вернусь в театр, а ты найдёшь себе человеческую работу, – по-учительски заговорила она, приблизилась и положила свою ладонь на мою руку.

– Не-е-е-ет! – заревела я. – Ты не знаешь, ты не видела! Всё судите, судите о том, чего не знаете... тупые клуши! Тупость – то же уродство. Да ещё такое, что никаким скальпелем не поправить. Ты – глупая... нам конец.

– Чи-чи, успокойся. Не кричи... Всё... всё... Я всё поняла. Что у тебя болит, Ниночка? Я тебя вылечу.

Она заплакала. Я оттолкнула её.

– Ха-ха! Обнять и плакать?! Не выйдет! Что у меня болит? То же, что и у тебя... что и у всех сегодня. У меня болят секс, деньги и одиночество... Ну и другое, чем ты не страдаешь: несовершенство, пустота и никчёмность. Ну очень терзают!

Ну и?! Что скажешь? Может, думаешь, ты здоровая мать Тереза? Подарить пиджачок? А в самолётике полетать хочешь? А кушать вкусно? А жить на бабульках? А чувствовать себя кому-то нужной? На что ты пойдёшь ради этого? А... ха-ха... Ещё же это, чуть не забыла... Извальяться с напудренным дедом, да ещё за бесплатно. Как ты могла?

– Одиночество. Хроническое. Ты же знаешь, – тихо ответила она и, вернувшись в кровать, накрылась с головой одеялом.

– И поэтому ты со мной?

– Наверное, – ещё тише сказала она и совсем тихо добавила: – А может, и вправду – из-за денег? Нина... с ними – красиво. Я уже не понимаю, где правда, а где ложь. Я запуталась.

– Говорила тебе... Я – паук. И мне кажется, паук влюбился. Но у чудовищ и любовь чудовищная. Беги, Саша. Беги, пока окончательно не влипла. Я дам тебе денег на путешествие... только свали. У меня нет сил от тебя отказаться. Как от той балерины... Я тебя тоже спёрла и вставила себе вместо души. Ха-ха! У кого-то вставная челюсть... а у меня... а-ха-ха... счас подохну... как мне смешно... встав-встав... вставная ду-уша.

– Я не уйду. И ты никому не нужна, и я, – вдруг заявила Саша и, сбросив с себя одеяло, посмотрела мне прямо в глаза. – Не на ту нарвалась, – продолжила она дрожащим голосом.

– Да... – аж присела я.

– И я поделюсь с тобой душой по доброй воле... А ты отдашь мне одну свою талантливую сиську. Станем душевными амазонками, – разгониалась она.

– Ха-ха!.. Саша, что с тобой?

– Надоело твоё нытьё! Давай жить! Так тебе понятнее? Ты русский язык понимаешь или только свой монголо-татарский? Вдвоём легче выжить. Вдвоём мы – целое и нормальное. Поняла?! – победно закончила она.

– Да поняла, поняла... чего тут непонятного? Блудница и девственница форева. Разбавь чёрное белым и получишь – среднестатистическое серенькое. Соедини нас в одно – и получится обычная скучная тётка. Да?!

Мы упали в покатуху. Довольно долго катались-смеялись, ну а затем отправились сначала в сигарную, попили там кофе, подымили на фрицев, а потом – в спа. Я почти не совру, если скажу, что объехала спа по всему миру. Я толком не видела ни одной страны, которую посещала, но вот спа я видела на всех континентах, где они открыты. Меня массировали марроканки, тёрли турки, гладили французы, пощипывали итальянки, трогали финны, американцы, голландцы, англичане... ну и так далее. А вот сегодня меня отмачивают немцы. Кожа на лице у меня совсем сухая от пьянки, я просто спускаю себя в унитаз. Немка недовольна моим лицом, а я – попой Саши, которая разделась догола, словно припёрлась, дурында, в русскую баню. У Саши на жопе появляется цел-

люлит, меня почему-то это раздражает и расстраивает... Я грешу на алкоголь, типа из-за этого меня колышет колыхающаяся Сашина задница, потому что до сего дня меня несильно интересовали чужие женские ягодички. Ну не знаю... Что это я вдруг? В общем, я команду немке:

– Натри ей жопу как следует.

А Саше:

– От этого надо избавляться, как-то разгонять этот жир...

Ты ешь много сладкого.

Массажистка отвечает, что – ферштейн. Саша перестаёт довольно улыбаться и говорит мне:

– Отвернись.

Я отворачиваюсь и думаю, что по приезде куплю ей абонемент в спортзал и буду следить за её питанием. Ещё ей нужна нормальная косметика. Нормальную одежду купим сегодня. Ещё ей нужно какое-то занятие. Пусть займётся ещё нашим домом. Да, обязательно надо отправить её на кулинарные курсы. Десять плюс пятнадцать... Двадцать пять штук. Двадцать пять штук – совсем неплохо. Ещё накопления... мои накопления... Ещё в следующем месяце будет примерно столько же. Так... около трёхсот тысяч евриков в сумме. Можно купить ещё одну квартиру и домик у моря. Если сдать обе хаты, мы спокойно можем уехать на пенсию и растить апельсиновую рощу. «Шлюхам не даётся второй шанс...» Блин, откуда это? А, вспомнила. Блин, у меня даже мечты своей нету! Своровала апельсиновую рощу из ка-

кого-то кино у какой-то выдуманной проститутки, накопившей на вторую жизнь.

Сосиска и парк... На улице достаточно тепло, моросит европейский зимний дождь. Я пытаюсь отобрать у Сашки булку и кричу:

– Не жри хлеб! И этот соус – сплошной майонез. И так уже отрастила себе жопень... Хочешь, чтобы до земли свисала?!

Она убегает от меня, прячется за деревом, а потом высывается оттуда с ополовиненным хот-догом и передразнивает меня с набитым ртом:

– О! Жизнь – такое дерьмо... хы-хы... Я – такая несчастная! Ой-ой-ой! А ты – глупая и толстая. Всё пропало! Всё пропало. Нам конец. Нам конец, – кривляется она.

– Ты точно Чаплин в юбке! Ну очень смешно!

Мы хохочем, потом она засовывает в рот вторую половину хот-дога и добавляет:

– Мне нужна не ты, а твои миллионы. – Чавкает, поглаживает свой животик, вращает глазами и облизывается, стараясь сделать это от уха к уху.

Я – ржунимагу.

– Пойдём оденем тебя как белого человека? – говорю я, отсмеявшись, и веду её на Королевскую аллею.

Саша почему-то начинает нервничать, прикуривает на ходу сигареты одну за другой и бросает их в лужи после двух затяжек.

– Нас оштрафуют или загребут, не разбрасывай окурки.

– Х-х-х-хорошо, – заикается она.

– Ты чего?

– Я боюсь таких магазинов. Я никогда в таких не была. Не знаю, как мне себя там вести. Я, по-моему, вспотела. И носок у меня дырявый. И ещё... Я ж никогда не смогу вернуть тебе эти деньги. И ещё я и вправду растолстела. Я не пойду. Не надо мне ничего.

Она садится на скамейку и страшнеет на глазах. Саша из тех женщин, кого уродуют переживания. Лицо как-то вытягивается, отчего нос кажется слишком длинным, а глаза становятся такими тусклыми, как у самых дряхлых старух. Я не знаю, что сказать, и я злюсь на неё, и почему-то стесняюсь её, и отхожу в сторону, вроде как эта уродина – не моя.

Она ревёт:

– Конечно. Ты вон какая красивая... Вся такая тоненькая, высокая, и волосы блестят. Даже бродяга сказал тебе вслед «королева», я слышала. Ты даже на Королевской аллее – королева.

– Для бродяги-то – да... Бери выше – царица... Слушай, не пачкай мне мозги, – взрываюсь я и отхожу от неё ещё дальше.

– Ты меня бросишь. Поиграешься и бросишь... А я без тебя теперь умру. Лучше бы я вообще тебя не встречала. У меня целлюлит, ты ска-ска... сказала, а жирных балерин не бывает, – захлёбывается она, как на похоронах кого-то неповторимого.

– Что?! Всё-таки влипла! – слишком резко обрываю я.

Саша замолкает и потом лишь сморкается и кашляет, сторбившись, как бабулька на лавочке, что у бутика «Гуччи».

– Я не верю, что ты такая слабая, – наконец подхожу я к ней, успокоившись. – Ты не можешь потерпеть даже такой ерундовины, незначительного внешнего недостатка. А я всю жизнь терплю уродство.

– Незначительного? – подняла она на меня заплаканные глаза.

– Конечно, эгоистка... А меня ты пожалеешь?

– Нет. Ты не жалкая.

Жакет из стриженной голубой норки, часики с циферблатом мятного цвета на коричневом ремешке, шкотные брюки, ещё джинсы и свитер цвета фуксии, две рубашки, чёрную и белую, нижнее бельё, семь комплектов, и даже пижаму успели намерить мы на Сашу, хотя до закрытия магазинов оставалось совсем немного времени. Не купили только обувь... Свои дырявые носки и свои большие неудобные ноги она наотрез отказалась вытаскивать из убитых ботинок.

– Была бы ты мужчиной... – сказала мне Саша и поцеловала меня в щёку.

Я задрожал... тьфу, задрожала, и ладони вдруг взмокли:

– Мужчиной-проституткой? Вот чего-чего, а этого тебе точно не надо.

– Моим мужчиной. Мне так хочется мужской руки.

Она взяла меня под руку, а я забрала у неё пакет с барах-

лом, и мы пошли.

– Спасибо, – опять поцеловала она меня.

– Да ладно. Это... это самое... Пойдём. Мне ещё надо купить прокладки и тампоны... Это самое... и это... пожрать бы чего. Ты очень красивая в этой своей новой голубой хрени. Вся такая...

# Глава 3

*Саша*

1.

Нина сказала, что Волкер – неплохой человек с одной плохой тайной. Он любит посасывать пальцы на ногах.

– На своих? Цирка-а-ач!!! – изумилась я.

– Нет. На женских ногах, – ответила она. – Думаю, всё-таки он латентный педераст. А может, и нет... я особо не вникаю.

– Это называется «толерантность».

– Что? Насасывать у кого-то пальцы? – удивилась Нина.

– Нет. Не вникать! Ну... Это ж в общем... и в целом... терпимость ко всем явлениям. Одна моя знакомая, в прошлом ярая коммунистка, в настоящем – разъярённая православная, в будущем – пока не знаю кто... написала пьесу. Слушай, и там у неё есть такие слова, что толерантность – это лозунг чёрта. Знамя сатанинского человека. И что, если выработать в себе терпимость ко всему, станешь чертовски счастливым, а потом – будь готов гореть в аду... за это вражеское счастье.

– О боже! А я думала, что одна живу среди фриков, а тебе-то, оказывается, ещё больше моего досталось. И что эта

тётка? Твоя знакомая? Интересненько. Совсем тогошь? Да?

– У неё волоски на бороде, она их не выдёргивает, и ноги тоже волосатые.

– Понятно. Никто не ебёт. Ой, прости... я ж забыла...

– У меня что?! Борода?! – театрально всплеснула я руками.

– Нет. Пока ещё только усы, потому что ты ещё не долбанулась без мужика до православного Ленина, – засмеялась Нина.

Я погладила свои воображаемые усы, что под самые бакенбарды, задрожала подбородком и пустила слезу.

– Ничего... Ничего... Конечно, обидеть усатую приличную девушку всем в радость! Горите огнём, проститутки! – нарочито злопыхала я, выдёргивая курчавые волосы из своей внушительной бородачи, которую я себе довообразила.

– Не плачь, я буду обожать тебя и религиозной бородатой ненавистницей блядей с заветами Ильича, – хохотала Нина и потом чмокнула меня в подбородок.

Казалось, полдороги до Морицбурга она приговаривала: «Блин, может, даже брошу пить».

Мы отправились в городок Морицбург к другу Нины – некоему Волкеру, выбрав средством передвижения какую-то колымагу с немецким Арменкой, хи-хи, за рулём. Видимо, мы уже заскучали по матушке России и ждали, что Армен врубит нам «Чёрные глаза» или шансон. Да, нам было чертовски весело ехать в красном ведре с «давай до свиданья»,

который улыбался нам в зеркало заднего вида, как родным. И да, нам было чертовски толерантно навестить сосателя пальцев и директора крупной фармацевтической компании по совместительству, с которым Нина просто дружила и поэтому никогда не разувалась в его присутствии.

– Слушай, – попыталась она сделать серьёзное лицо, но раскололась и прыснула. – Я подумала... ты ж мечта Волкера!.. С твоими-то лапами... а-ха-ха... Ему не устоять!!! Точно тебе говорю. А если у тебя опять рваные носки... У тебя щас же начнётся карьера стриптизёрши... А-а-а-а-ха-ха! Ты на скользкой дорожке, девочка.

Я толкнула её и, собрав губы трубочкой, по-детски выдохнула:

– Ду-ра.

– Са-ма, – подыграла Нина.

– Он богатый?

– Типа того...

– У меня – дырявый носок... Он – мой!!!

Нина загоготала так, что ни бельмеса не понимающий Армен тоже залился смехом и притормозил.

Мы замолчали, и водитель опять прибавил ходу вместе со звуком радио. Болтали какие-то новости, а потом гавкали немецкий рэп. На мой взгляд – такой же смешной, как и их фильмы про «дастиш фантастиш». Я видела с дюжину их эротических кинопроизведений и всегда смеялась, как бегемот... Во весь живот то бишь и широко открывая рот.

Немцы кажутся мне слишком бесстрастными для секса, хотя в этом я не алё... Но вот для рэпа они точно не айс. Они похожи на роботов в шарфиках – очень интересных, даже независимых от некоторых мировых программ. Таких роботов, что – себе на уме. Пожалуй, немцы умиляют меня своим искусством, своим видом и скверным характером в том числе. Умиляют до любви. Нет, точнее, умиляют до лайков. Я смотрю на Нину, приткнувшуюся головой к закрытому окну, – на её дерзкое лицо, слишком тяжёлый взгляд – и понимаю, что мне не нравится эта скверная женщина. Но я её полюбила. Хоть и не той самой любовью, что аж вопреки, но всё же полюбила. За что? Может, за её раненую историю, благодаря которой даже самый последний человек прощается... до той самой?

– Я знаю! – выдёргиваю я Нину из её мыслей. – У тебя есть хвост, который ты от всех прячешь. Ещё ты жила в интернате, тебя всё детство опускали головой в унитаз и вообще всячески издевались разные садисты... Твоя мать – серость и пьянь, твой дядя – педофил... Ещё ты была нищей. Такое я про тебя придумала, чтоб оправдать твоё настоящее, – выпалила я на одном дыхании.

– Откуда ты знаешь про хвост... – сказала она без вопросительной интонации, сделала серьёзное лицо, всплеснула руками... и не раскололась.

– Ты могла бы стать актрисой. Хорошо сыграла. Я – поверила.

– Давай немного поспим?

– А может, ты серийная убийца даже! С таким-то прошлым... Я все сезоны «Мыслить как преступник» позырила... Там типа чем тяжелее детство, тем тяжелей статья.

– Бу!

– Вот ду-у-у-ра... И правда ж – напугала!

– Всё! Я сплю! Обратно полетим самолётом. Далековато ехать.

Я отвернулась от неё, и перед глазами замельтешили дома и города, которым никогда не пахнуть варениками и селёдкой. На мне, вдруг показалось, чужая одежда, что из какой-то совсем чужой мне жизни... не моей. И шубейка-то эта из холодного меха пошита. Мне нет в ней тепла, в ней – неуютно. Я всматриваюсь в мелькающий мир за стеклом, будто пытаюсь его узнать, но не узнаю. И мысли мои мелькают. Со мной что-то очень не то происходит, и в то же время что-то очень то происходит со мной! Как будто я впервые вышла из-за кулис бытия на его сцену и решила здесь жить, не прячась больше за плотной шторой.

Я вытаскиваю у Нины из кармана плеер и слушаю какую-то поросятину. Незнакомая, не узнаваемая мной женщина подвывает там у неё: «Мама, я забыла гордость... но я узнала, что такое нежность! Мама, я так одинока... а вокруг меня люди, люди... Мама, у меня сердце не бьётся... Мама, что со мною будет?!»

– Всё будет хорошо, Ни... На... Ниночка... – подвываю

я и роняю слёзы на воротник. На норке остаются вмятины, как после перенесённой оспы, и я реву ещё пуще... Жалко шкурки, что сто́ит... шкуры Нины, что вся во вмятинах и рубцах, как после перенесённой жизни.

...Волкер встретил нас с дурацким лицом и дурацким приветствием «Хай».

– Хай, Гитлер! – бросилась к нему обниматься Нина.

– Хелло, хелло, – поулыбался он и потрусил на своих тоненьких ножках по длинной дорожке к высокому дому.

Нина задержалась у машины, потому что немецкий Арменка решил с ней поторговаться о цене за проезд. А я пошла за Волкером. Потом я услышала мат, который Нина знала в совершенстве, и визг сорвавшейся с места машины.

– Подожди меня! – крикнула она мне вслед.

Я остановилась. Она бежала и весело выкрикивала:

– Этот «давай до свиданья» нагреть нас решил. Ха-ха!..

Мать моя женщина! А я русским могучим ещё и скостила полцены... Ха-ха! Зачем, спрашивается, языки учить, если наш мат везде понимают?.. – вроде как поинтересовалась она, подойдя ко мне. – Международный язык, панимащ?

– Он был твоим клиентом, этот Волкер? – спросила я.

– Ты что, ревнуешь?

– У него такой большой рот.

– Ой, да ладно тебе... Не был он моим клиентом, – захихикала Нина. – Он у меня жил неделю в Питере. По обмену...

– Это как?

– Ну, люди со всего мира могут приехать и остановиться в моём доме, я им свой велком и борщ, а потом я могу поехать к ним и жить у них.

– Удивительно! И зачем тебе это?

– Забавно. Можно ходить голой и ничего не скрывать. Кому не нравится – тот пусть валит. А кто не свалит – тот друг на всю жизнь. Волкер не сосал мне пальцы, но я это знаю про него и принимаю. И он принял меня. Понимаешь? С моим хвостом, который я от всех прячу, – глянула она мне прямо в глаза и опять не раскололась.

Волкер выкатил нам белого вина и колбасы. Я быстро забалдела и никак не могла наесться. Нина пихала меня ногой под столом, как только я тянула руку за новым бутером, а я ела и ела. Особенно мне понравилась перчёная сырокопчёная колбаска, на которую я очень неприлично налегала.

– Принимай меня любой, и даже – толстой. Потому что мне абсолютно плевать на твой хвост, – отмахнулась я от неё.

– О боже! Где ты жила? Ты хоть бы прожевала сначала, прежде чем разговаривать!

– Ой, извините, извините... Совсем не умею себя вести в приличном обществе.

Нина засмеялась, а я вдруг почувствовала себя свободной и отвязной донельзя и, подмигнув ей, скинула тапки.

– Мальы, – пояснила я Волкеру, распущенно шевеля пальцами.

Тогда и он захохотал.

– Что вы все надо мной смеётесь? Это неприлично так ржать, дайте ещё колбасы.

Волкер придвинул мне всё блюдо и, подперев голову кулаком, стоически терпел пожирание его продуктов.

– О! Нежадный. Хорошо. Переведи ему, что он – нежадный. Я не знаю, как это по-английски.

Нина перевела. Он привстал и показал мне неразжатым кулаком, где у него холодильник, мол, если этого не хватит – возьми там. Все опять рассмеялись.

Я чувствовала себя как дома, и Волкер был мне родственником в тот день. Словно голые люди, мы болтали без стеснения обо всём. Я плохо знаю английский, на котором они общались, но Нина переводила мне то, чего я не понимала... А когда я напилась, языковой барьер был полностью преодолён, причём для Волкера – тоже. Он орал русские песни громче нашего, а когда всё же просил перевести, то плакал.

– Я несла свою беду! – кричал Волкер.

– По весеннему по льду! – подхватывали мы.

– Подломился лёд, душа оборвалась... Камнем под воду пошла, а беда, хоть тяжела, но за острые края, – перекрикивал он нас, – задержался!

Потом я вскакивала и наглядно показывала ему, что было дальше. Как он настиг её, догнал... и как на руки поднял... и как «беда с молвой в седле ухмылялися» ... И от того, что

«беда на вечный срок задержалась», пьяный немец просто рыдал, и мы подхватывали.

Если б Волкер не жил в трёхэтажном тереме, что стоял особняком от других домов, соседи наверняка вызвали бы полицию. Потому что пьянка удалась. После песен Волкер и Нина пустились в пляс. Точнее, они не танцевали, а прыгали под громыхающую музыку. Стояли рядом, держась за руки, и подпрыгивали... Так долго, будто надеялись взлететь.

Когда Нина, казалось, выпрыгнула из своей боли, она, обессиленная, упала на диван рядом со мной. Примостившись у меня на коленях и смотря куда-то в сторону, она сказала:

– Дура... Та, твоя волосатая знакомая.

– Почему?

– Потому что не выдирает волос с подбородка и потому что не понимает. Выработать в себе терпимость ко всему, то есть задушить душу, – невозможно. Я пробовала. Волкер, ты это пётришь? – крикнула она по-русски немцу, который всё ещё старался куда-то улететь.

– Я-я! – крикнул он ей в ответ.

2.

Спальня цвета яичной скорлупы, монотонная, однотонная. Меня уложили спать в яйце, в каком-то коконе, не иначе. Всё серое, замкнутое, и воздуха мало. Потолок кружится.

Всё кажется круглым. У меня – «вертолёт», но блевать здесь – нельзя. Здесь чисто до стерильности, до тошноты чисто.

Монохром, кто-то стёр все краски, засерил мне белый свет... Я хочу домой, я хочу кого-то тёплого рядом, кого-то живого. Хоть бы кошка здесь жила, пусть даже серая или вообще – бесцветная. Но лучше – красная! А лучше – розовая!.. Лавандовая кошка пусть жила бы здесь, в этой спальне. Хотя бы одну ночь, хотя бы однодневка-кошка... тьфу, кошка-одноночка... Ну, та, что живёт лишь ночь, – помогла бы мне дожить до утра. Помурчала, погрела, сказала бы: «Не бойся, Саша! Блуй себе на здоровье. Я подержу твои волосы и возьму вину на себя. Мне всё равно умирать утром. А тебе ещё... жить и жить в завтра... в цветной, в красно-лавандово-розовой жизни жить-поживать».

– Мне страшно, Саша, – услышала я в полумраке голос Нины.

– Почему?

– Шуги... бухло отпускает. Это завтра пройдёт, – сказала она прямо на ухо и залезла ко мне под одеяло.

– У тебя тоже серая комната?

– У него все комнаты серые, как и дни его. Я потом тебе расскажу.

– Он не откусит нам пальцы ночью?

– Не знаю... Меня тошнит.

– Меня тоже.

Нина прижимается ко мне, я поворачиваюсь к ней спиной,

и она обнимает меня крепко-крепко, кажется, даже держит, чтоб я не вырвалась. Дышит мне в затылок, тяжело и влажно. Потом целует меня в шею... Губы у неё горячие. Я закрываю глаза и замираю... Вижу розовые обои в розовые розы. Вижу розовые губы... Лавандовые кошки с разноцветными котятками разбегаются по незнакомым улицам. Вдруг... она гладит моё тело. Пурпурно-красное сердце колотится перед глазами. Она просовывает руку мне между ног. Всё становится тиной, болотным цветом всё заливается.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.